

КНИГА ПЕРВАЯ

К читателю

Это искренняя книга, читатель. Она с самого начала предвещает тебе, что я не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных и частных. Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе. Силы мои недостаточны для подобной задачи. Назначение этой книги — доставить своеобразное удовольствие моей родне и друзьям: потеряв меня (а это произойдет в близком будущем), они смогут разыскать в ней кое-какие следы моего характера и моих мыслей и, благодаря этому, восполнить и оживить то представление, которое у них создалось обо мне. Если бы я писал эту книгу, чтобы снискать благоволение света, я бы принарядился и показал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденном виде, непринужденным и безыскусственным, ибо я рисую не кого-либо иного, а себя самого. Мои недостатки предстанут здесь, как живые, и весь облик мой таким, каков он в действительности, насколько, разумеется, это совместимо с моим уважением к публике. Если бы я жил между тех племен, которые, как говорят, и по сей час еще наслаждаются сладостной свободой изначальных законов природы, уверяю тебя, читатель, я с величайшей охотой нарисовал бы себя во весь рост, и притом нагишом. Таким образом, содержание моей книги — я сам, а это отнюдь не причина, чтобы ты отдавал свой досуг предмету столь легковесному и ничтожному. Прощай же!

*Де Монтень.
Первого марта тысяча пятьсот восьмидесятого года.*

Глава I

РАЗЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ МОЖНО ДОСТИЧЬ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ

Если мы оскорбили кого-нибудь, и он, собираясь отомстить нам, волен поступить с нами по своему усмотрению, то самый обычный способ смягчить его сердце — это растрогать его своею покорностью и вызвать в нем чувство жалости и сострадания. И, однако, отвага и твердость — средства прямо противоположные — оказывали порою то же самое действие.

Эдуард, принц Уэльский, тот самый, который столь долго держал в своей власти нашу Гиень, человек, чей характер и чья судьба отмечены многими чертами величия, будучи оскорблен лиможцами и захватив силой их город, оставался глух к воплям народа и женщин, и детей, обреченных на бойню, моливших его о пощаде и валявшихся у него в ногах, пока, продвигаясь все глубже в город, он не наткнулся на трех французов-дворян, которые с невиданной храбростью, одни, сдерживали натиск его победоносного войска. Изумление, вызванное в нем зрелищем столь исключительной доблести, и уважение к ней, притупили острие его гнева и, начав с этих трех, он пощадил затем и остальных горожан.

Скандербег, властитель Эпира, погнался как-то за одним из своих солдат, чтобы убить его; тот, после тщетных попыток смягчить его гнев униженными мольбами о пощаде, решился в последний момент встретить его со шпагой в руке. Эта решимость солдата внезапно охладила ярость его начальника, который, увидев, что солдат ведет себя достойным уважения образом, даровал ему жизнь. Лица, не читавшие о поразительной физической силе и храбрости этого государя, могли бы истолковать настоящий пример совершенно иначе.

Император Конрад III, осадив Вельфа, герцога баварского, не пожелал ни в чем пойти на уступки, хотя осажденные готовы были смириться с самыми позорными и унижительными условиями, и согласился только на то, чтобы дамам благородного звания, запертым в городе вместе с герцогом, позволено было выйти оттуда пешком, сохранив в неприкосновенности свою честь и унося на себе все, что они смогут взять. Они же, руководясь великодушным порывом, решили водрузить на свои плечи мужей, детей и самого герцога. Императора до такой степени восхитил их благородный и смелый поступок, что он заплакал от умиления; в нем погасло пламя непримиримой и смертельной вражды к побежденному герцогу, и с этой поры он стал человечнее относиться и к нему, и к его подданным.

На меня одинаково легко мог бы воздействовать и первый и второй способы. Мне свойственна чрезвычайная склонность к милосердию и снисходительности. И эта склонность во мне настолько сильна, что меня, как кажется, скорее могло бы обезоружить сострадание, чем уважение. А между тем для стойков жалость есть чувство, достойное осуждения; они хотят, чтобы, помогая несчастным, мы в то же время не размягчались и не испытывали сострадания к ним.

Итак, приведенные мною примеры кажутся мне весьма убедительными; ведь они показывают нам души, которые, испытав на себе воздействие обоих названных средств, остались непоколебимыми перед первым из них и не устояли перед вторым. В общем, можно вывести заключение, что открывать свое сердце состраданию свойственно людям снисходительным, благодушным и мягким, откуда проистекает, что к этому склоняются скорее натуры более слабые, каковы женщины, дети и простолюдины. Напротив, оставаться равнодушным к слезам и мольбам и уступать единственно из благоговения перед святынею доблести есть проявление души сильной и непреклонной, обожающей мужественную твердость, а также упорной. Впрочем, на души менее благородные то же действие могут оказывать изумление и восхищение. Пример тому — фиванский народ, который, учинив суд над своими военачальниками и угрожая им смертью за то, что они продолжали выполнять свои обязанности по истечении предписанного и предуказанного им срока, с трудом оправдал Пелопида, согнувшегося под бременем обвинений и добивавшегося помилования лишь смиренными просьбами и мольбами; с другой стороны, когда дело дошло до Эпаминонда, красноречиво обрисовавшего свои

6 многочисленные заслуги и с гордостью и высокомерным видом попрекавшего ими сограждан, у того же народа не хватило духа взяться за баллотировочные шары и, расходясь с собрания, люди всячески восхваляли величие его души и бесстрашие.

Дионисий Старший, взяв после продолжительных и напряженных усилий Регий и захватив в нем вражеского военачальника Фитона, человека высокой доблести, упорно защищавшего город, пожелал показать на нем трагический пример мести. Сначала он рассказал ему, как за день до этого он велел утопить его сына и всех его родственников. На это Фитон ответил, что они, стало быть, обрели свое счастье на день раньше его. Затем Дионисий велел сорвать с него платье, отдать палачам и водить по городу, жестоко и позорно бичуя и, сверх того, понося гнусными и оскорбительными словами. Фитон, однако, стойко сохранял твердость и присутствие духа; идя с гордым и независимым видом, он напоминал громким голосом, что умирает за благородное и правое дело, за то, что не пожелал предать тирану родную страну, и грозил последнему близкой карой богов. Дионисий, прочитав в глазах своих воинов, что похвальба поверженного врага и его презрение к их вождю и его триумфу не только не возмущают их, но, что, напротив, изумленные столь редким бесстрашием, они начинают проникаться сочувствием к пленнику, готовы поднять мятеж и даже вырвать его из рук стражи, велел прекратить это мучительство и тайком утопить его в море.

Изумительно суетное, поистине непостоянное и вечно колеблющееся существо — человек. Нелегко составить себе о нем устойчивое и единообразное представление. Вот перед нами Помпей, даровавший пощаду всему городу мамертинцев, на которых он перед тем был сильно разгневан, единственно из уважения к добродетелям и великодушию одного их согражданина — Зенона; последний взял на себя бремя общей вины и просил только о единственной милости: чтобы наказание понес он один. С другой стороны, человек, который оказал Сулле гостеприимство, проявив подобную добродетель в Перузии, нисколько не помог этим ни себе, ни другим.

А вот нечто совсем противоположное моим предыдущим примерам. Александр, превосходивший храбростью всех когда-либо живших на свете и обычно столь милостивый к побежденным врагам, завладев, после величайших усилий городом Газой, наткнулся там на вражеского военачальника Бетиса, поразительное искусство и доблесть которого он имел возможность не

раз испытать во время осады. Покинутый всеми, со сломанным мечом и разбитым щитом, весь израненный и истекающий кровью, Бетис один продолжал еще биться, окруженный толпой македонян, теснивших его. Александр, уязвленный тем, что победа досталась ему столь дорогою ценой, — ибо, помимо больших потерь в его войске, его самого только что дважды ранили, — крикнул ему: «Ты умрешь, Бетис, не так, как хотел бы. Знай: тебе придется претерпеть все виды мучений, какие можно придумать для пленника». Бетис не только сохранял полную невозмутимость, но, больше того, с вызывающим и надменным видом молча внимал этим угрозам. Тогда Александр, выведенный из себя его гордым и упорным молчанием, продолжал: «Преклонил ли он колени, слетела ли с его уст хоть одна единственная мольба? Но поверь мне, я преодолею твоё безмолвие, и, если я не могу исторгнуть из тебя слово, то исторгну хотя бы стоны». И, распаяясь все больше и больше, он велел проколоть Бетису пятки и, привязав его к колеснице, волочить за нею живым, раздирая, таким образом, и уродуя его тело. Случилось ли это из-за того, что Александр утратил уважение к доблести, так как она была для него делом привычным и не вызывала в нем восхищения? Или, быть может, он настолько высоко ценил собственную, что не мог с высоты своего величия видеть в другом нечто подобное, не испытывая ревнивого чувства? Или же свойственная ему от природы безудержность гнева не могла стерпеть чьего-либо сопротивления? И, действительно, если бы она могла быть обуздана, она была бы обуздана, надо полагать, при взятии и разорении Фив, когда у него на глазах было самым безжалостным образом истреблено столько отважных людей, потерявших все и лишенных возможности защищаться. Ведь тогда по его приказу было убито добрых шесть тысяч, причем никого из них не видали бегущими или умоляющими о пощаде; напротив, всякий, бросаясь из стороны в сторону, искал случая столкнуться на улице с врагом-победителем, навлекая на себя, таким путем, почетную смерть. Не было никого, кто бы, даже изнемогая от ран, не пытался из последних сил отомстить за себя и во всеоружии отчаянья найти утешение в том, что он продает свою жизнь ценою жизни кого-нибудь из неприятелей. Их доблесть, однако, не породила в нем никакого сочувствия, и не хватило целого дня, чтобы утолить его жажду мщения. Эта резня продолжалась до тех пор, пока не пролилась последняя капля крови; пощажены были лишь те, кто не брался за оружие, а именно: дети, старики, женщины, дабы доставить победителю тридцать тысяч рабов.

Глава II

О СКОРБИ

Я принадлежу к числу тех, кто наименее подвержен этому чувству. Я не люблю и не уважаю его, хотя весь мир, словно по уговору, окружает его исключительным почитанием. В его одеяние обряжают мудрость, добродетель, совесть, — чудовищный и нелепый наряд! Итальянцы гораздо удачнее окрестили этим же словом коварство и злобу. Ведь это — чувство, всегда приносящее вред, всегда безрассудное, а также всегда малодушное и низменное. Стоики воспевают мудрецу предаваться ему.

Существует рассказ, что Псамменит, царь египетский, потерпев поражение и попав в плен к Камбизу, царю персидскому, увидел свою дочь, также ставшую пленницей, когда она, посланная за водой, проходила мимо него в одеждах рабыни. И хотя все друзья его, стоявшие тут же, плакали и громко стонали, сам он оставался невозмутимо спокойным и, вперив глаза в землю, не промолвил ни слова; то же самообладание сохранял он и тогда, когда увидел, как его сына ведут на казнь. Заметив, однако, одного из своих приближенных в толпе прогоняемых мимо него пленных, он начал бить себя по голове и выражать крайнюю скорбь.

Это можно сопоставить с тем, что недавно произошло с одним из наших вельмож. Находясь в Триенте, он получил известие о кончине своего старшего брата, и притом того, кто был опорой и гордостью всего рода; спустя некоторое время ему сообщили о смерти младшего брата, бывшего также предметом его надежд. Выдержав оба эти удара с примерною твердостью, он по прошествии нескольких дней, когда умер один из его приближенных, был сломлен этим несчастьем и, утратив душевную твердость, предался горю и отчаянью, что подало некоторым основание думать, будто он был задет за живое лишь этим последним потрясением. В действительности, однако, это произошло оттого, что для скорби, которая заполняла и захлестывала его, достаточно было еще нескольких капель, чтобы прорвать преграды его терпения.

Подобным же образом можно было бы объяснить и рассказанную выше историю, не будь к ней добавления, в котором приводится ответ Псамменита Камбизу, пожелавшему узнать, почему, оставаясь безучастным к горькой доле сына и дочери, он принял столь близко к сердцу несчастье, постигшее одного из его друзей. «Оттого, — сказал Псамменит, — что лишь это

последнее огорчение может излиться в слезах, тогда как для горя, которое причинили мне два первых удара, не существует способа выражения».

Здесь было бы чрезвычайно уместно напомнить о приеме того древнего живописца, который, стремясь изобразить скорбь присутствующих при заклании Ифигении сообразно тому, насколько каждого из них трогала гибель этой прелестной, ни в чем не повинной девушки, достиг в этом отношении предела возможностей своего мастерства; дойдя, однако, до отца девушки, он нарисовал его с закрытым лицом, как бы давая этим понять, что такую степень отчаянья выразить невозможно. Отсюда же проистекает и созданный поэтами вымысел, будто несчастная мать Ниобея, потеряв сначала семерых сыновей, а затем стольких же дочерей и раздавленная непомерностью этой потери, в конце концов, превратилась в скалу —

Diriguise malis!

Они создали этот образ, чтобы передать то мрачное, немое и глухое оцепенение, которое овладевает нами, когда нас одолевают несчастья, превосходящие наши силы.

И действительно, чрезмерно сильное горе подавляет полностью нашу душу, стесняя свободу ее проявлений; нечто подобное случается с нами под свежим впечатлением какого-нибудь тягостного известия, когда мы ощущаем себя скованными, оцепеневшими, как бы парализованными в своих движениях, — а некоторое время спустя, разразившись, наконец, слезами и жалобами, мы ощущаем, как наша душа сбросила с себя путы, распрямилась и чувствует себя легче и свободнее.

*Et via vix tandem voci laxata dolore est*².

Во время войны короля Фердинанда со вдовой венгерского короля Иоанна, в битве при Буде, немецкий военачальник Рейшах, увидев вынесенное из схватки тело какого-то всадника, сражавшегося на глазах у всех с отменной храбростью, пожалел о нем вместе со всеми; полюбопытствовав наряду с остальными, кто же все-таки этот всадник, он обнаружил, после того как с убитого сняли доспехи, что это его собственный сын. И в то время, как все вокруг него плакали, он один не промолвил ни слова, не проронил ни слезы; выпрямившись во весь рост, стоял он там с остановившимся, прикованным

¹ «Окаменела от горя» (Овидий. *Метаморфозы*, VI, 303).

² «И с трудом, наконец, горе открыло путь голосу» (Вергилий. *Энеида*, XI, 151).

10 к мертвому телу взглядом, пока сила горя не оледенила в нем жизненных духов, и он, оцепенев, не пал за-
мертво наземь.

*Chi può dir com' egli arde, è in picciol fuoco*¹,

говорят влюбленные, желая изобразить терзания страсти:

*misero quod omnes
Eripit sensus mihi. Nam simul te,
Lesbia, aspexi, nihil est super mi
Quod loquar amens.
Lingua sed torpet, tenuis sub artus
Flamma dimanat, sonitu suopte
Tinniunt aures, gemina teguntur
Lumina nocte*².

Таким-то образом, в те мгновения, когда нас охватывает живая и жгучая страсть, мы не способны изливаться в жалобах или мольбах; наша душа отягощена глубокими мыслями, а тело подавлено и томится любовью.

Отсюда и рождается иной раз неожиданное изнеможение, так несвоевременно овладевающее влюбленными, та ледяная холодность, которая охватывает их по причине чрезмерной пылкости, в самый разгар наслаждений. Всякая страсть, оставляющая место для смакования и размышления, не есть сильная страсть.

*Curae leves loquuntur, ingentes stupent*³.

Нечаянная радость или удовольствие также ошеломляют нас.

*Ut me conspexit venientem, et Troia circum
Arma amens vidit, magnis exterrita monstis,
Diriguit visu in medio, calor ossa reliquit,
Labitur, et longo vix tandem tempore fatur*⁴.

¹ «Кто в состоянии выразить, как он пылает, тот охвачен слабым огнем» (Петрарка, Сонет 137).

² «Увы мне, любовь лишила меня всех моих чувств. Стоит мне, Лесбия, увидеть тебя, как я, обезумев, уже не в силах что-либо произнести. У меня цепенеет язык, нежное пламя разливается по всему телу, звоном сами собой наполняются уши и тьмой заволакиваются глаза» (Катулл, LI, 5 сл.).

³ «Только малая печаль говорит, большая — безмолвна» (Сенека, Федра, 607).

⁴ «И лишь увидела, что я иду, и узрела, в изумлении, вокруг меня троянских воинов, — устрешенная великим чудом, она обомлела; тепло покинуло ее кости; она падает и, лишь спустя долгое время, молвит» (Вергилий, Энеида, III, 306 сл.).

Помимо той римлянки, которая умерла от неожиданной радости, увидев сына, возвратившегося после поражения при Каннах, помимо Софокла и тирана Дионисия, скончавшихся также от радости, помимо, наконец, Тальвы, умершего на острове Корсике по прочтении письма, извещавшего о дарованных ему римским сенатом почестях, мы располагаем примером, относящимся и к нашему веку; так, папа Лев X, получив уведомление о взятии Милана, чего он так страстно желал, ощутил такой прилив радости, что заболел горячкой и вскоре умер. И чтобы привести еще более примечательное свидетельство человеческой суетности, укажем на один случай, отмеченный древними, а именно, что Диодор Диалектик умер во время ученого спора, так как испытал жгучий стыд перед своими учениками и окружающими, не сумев отразить выставленный против него аргумент.

Что до меня, то я не слишком подвержен подобным неистовствам страсти. Меня не так-то легко увлечь — такова уж моя природа; к тому же, благодаря постоянному размышлению, я с каждым днем все более черствую и закаляюсь.

Глава III

НАШИ ЧУВСТВА УСТРЕМЛЯЮТСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ НАШЕГО «Я»

Те, которые вменяют людям в вину их всегдашнее влечение к будущему и учат хвататься за блага, даруемые нам настоящим, и ни о чем больше не помышлять, — ибо будущее еще менее в нашей власти, чем даже прошлое, — затрагивают одно из наиболее распространенных человеческих заблуждений, если только можно назвать заблуждением то, к чему толкает нас, дабы мы продолжали творить ее дело, сама природа; озабоченная в большей мере тем, чтобы мы были деятельны, чем, чтобы владели истиной, она внушает нам среди многих других и эту обманчивую мечту. Мы никогда не бываем у себя дома, мы всегда пребываем где-то во вне. Опасения, желания, надежды влекут к будущему; они лишают нас способности воспринимать и понимать то, что есть, поглощая нас тем, что будет хотя бы даже тогда, когда нас самих больше не будет. *Calamitosus est animus futuri anxius*¹.

¹ «Несчастлива душа, исполненная забот о будущем» (Сенека, Письма, 98).

Вот великая заповедь, которую часто приводит Платон: «Делай свое дело и познай самого себя». Каждая из обеих половин этой заповеди включает в себя и вторую половину ее и, таким образом, охватывает весь круг наших обязанностей. Всякий, кому предстоит делать дело, увидит, что прежде всего он должен познать, что он такое и на что он способен. Кто достаточно знает себя, тот не посчитает чужого дела своим, тот больше всего любит себя и печется о своем благе, тот отказывается от бесполезных занятий, бесплодных мыслей и неразрешимых задач. *Ut stultitia, etsi adepta est quod concupivit nunquam se tamen satis consecutam putat: sic sapientia semper eo contenta est quod adest, neque earn unquam sui poenitet*¹.

Эпикур считает, что мудрец не должен предугадывать будущее и тревожиться о нем.

Среди правил, определяющих наше отношение к умершим, наиболее обоснованным, на мой взгляд, является то, которое предписывает обсуждать деяния государей после их смерти. Они — собратья законов, если только не их господа. И поскольку правосудие не имело власти над ними, справедливо, чтобы оно приобрело ее над их добрым именем и наследственным достоянием их преемников — а это вещи, ценимые нами часто дороже жизни. Этот обычай приносит большую пользу народам, которые его соблюдают, а также крайне желателен для всякого доброго государя, имеющего основание жаловаться, если к его памяти относятся совсем так же, как к памяти дурных государей. Мы обязаны повиноваться и покоряться всякому, без исключения, государю, так как он имеет на это бесспорное право; но уважать и любить мы должны лишь его добродетели. Так будем же ради порядка и спокойствия в государстве терпеливо сносить недостойных меж ними, будем скрывать их пороки, будем помогать своим одобрением даже самым незначительным их начинаниям, пока их власть нуждается в нашей поддержке. Но лишь только нашим взаимоотношениям с ними приходит конец, нет никаких оснований ограничивать права справедливости и свободу выражения наших истинных чувств, отнимая тем самым у добрых подданных славу верных и почтительных слуг государя, чьи недостатки были им так хорошо известны, и лишая потомство столь поучительного примера. И кто из чувства личной благодарности за какую-нибудь оказанную ему милость превозносит не заслу-

¹ «И если глупость, даже достигнув того, чего она жаждала, никогда не бывает довольной, то мудрость всегда удовлетворена тем, что есть, и никогда не докучает себе» (Цицерон, Тускуланские беседы, V, 18).

живающего похвалы государя, тот, воздавая ему справедливость в частном, делает это в ущерб общественной справедливости. Прав Тит Ливий, говоря, что язык людей, выросших под властью монарха, исполнен угодливости и суетного притворства; каждый расхваливает своего повелителя, каков бы он ни был, приписывая ему высшую степень доблести и царственного величия.

Быть может, некоторые и осудят дерзкую отвагу тех двух воинов, которые не побоялись бросить Нерону в лицо все, что они о нем думали. Первый из них на вопрос Нерона, почему он желает ему зла, ответил: «Я был предан тебе и любил тебя, пока ты заслуживал этого; но после того, как ты убил свою мать, как ты стал поджигателем, скоморохом, возницею на ристалищах, я возненавидел тебя, — ибо чего же другого ты стоишь?» Второй же, когда ему был задан Нероном вопрос, почему он замыслил его убить, сказал на это в ответ: «Потому, что я не видел другого способа пресечь твои бесконечные злодеяния». Но кто же в здравом уме вздумал бы осуждать те бесчисленные свидетельства о мерзких и чудовищных преступлениях этого императора, которые заклеили его после смерти и останутся на вечные времена?

Меня огорчает, что при всей безупречности принятого у лакедемонян образа жизни, мы находим у них нижеследующий весьма лицемерный обряд: после смерти царя все союзники и соседи, все илоты, мужчины и женщины, собравшись беспорядочной толпой, раздирали себе в знак скорби лицо и громко стонали и плакали, возглашая, что покойный, — каков бы он ни был на деле, — был лучшим из их царей; таким образом, они воздавали сану умершего ту похвалу, которая принадлежит по праву лишь заслугам и должна воздаваться лишь тому, кто имеет совершенно исключительные заслуги, хотя бы он и принадлежал к самому низшему званию. Аристотель, который не упустил, кажется, ни одной вещи на свете, задается вопросом в связи со словами Солона, что никто прежде смерти не может быть назван счастливым: а можно ли назвать счастливым того, кто жил и умер, как подобает, если он оставил по себе недобрую славу и если потомство его презрительно? Пока мы движемся, мы устремляем наши заботы куда нам угодно, но лишь только мы оказываемся вне бытия, мы не поддерживаем больше общения с тем, что существует. И потому Солон был бы более прав, если б сказал, что человек никогда не бывает счастливым, раз он может быть счастлив лишь после того, как перестал существовать.

Quisquam
 Vix radicitus e vita se tollit, et eiicit:
 Sed facit esse sui quiddam super inscius ipse,
 Nec remouet satis a proiecto corpore sese, et
 Vindicat¹.

Бертран Дюгеклен умер во время осады замка Ранкон, расположенного близ Пюи в Оверни. Осажденных, сдавшихся уже после его смерти, принудили возложить ключи крепости на тело покойного. Бартоломео д'Альвиано, начальствовавший над войсками венецианцев, скончался в Брешии, руководя там военными действиями. Чтобы доставить его тело в Венецию, надо было проследовать через земли враждебных веронцев. Большинство в войске венецианцев находило, что для этого следует испросить у веронцев пропуск. Теодоро Тривульцио, однако, воспротивился этому; он предпочел пробиться открыто силой, подвергнув себя случайностям битв: «Не подобает, — сказал он, — чтобы тот, кто при жизни никогда не боялся врагов, выказал после смерти страх перед ними».

Здесь будет кстати вспомнить о том, что согласно обычаям греков, всякий, обращавшийся к врагу с просьбой выдать для погребения чье-либо тело, как бы отказываясь тем самым от чести быть победителем и лишался, таким образом, прав на установку трофея. Победителями считались те, к кому обращались с подобною просьбой. Именно по этой причине Никий не смог воспользоваться тем преимуществом, которого он добился в войне с коринфянами, и, напротив, Агесилай закрепил за собой сомнительную победу над беотийцами.

Эти обычаи могли бы казаться странными, если бы людям всегда и везде не было свойственно не только простиравать заботы о себе за пределы своего земного существования, но, сверх того, также верить, что милости неба довольно часто следуют за нами в могилу и изливаются даже на наши останки. Сказанное можно подтвердить таким обилием примеров из древности, — не говоря уже о примерах из нашего времени, — что я не вижу нужды распространяться об этом. Эдуард I, король английский, удостоверившись во время продолжительных войн своих с шотландским королем Робертом, насколько его присутствие способствовало успеху в делах, — ибо всему, чем

¹ «И едва ли кто-нибудь до конца отрешает себя от жизни. Всякому, хоть и смутно, представляется все же, что от него должно нечто остаться, и он не вполне отрывается и освобождается от своего простертого тела» (Лукреций, О природе вещей, III, 877 сл.). Монтень внес в текст Лукреция некоторые изменения.

он лично руководил, неизменно сопутствовала победа, — умирая, обязал своего сына торжественной клятвой, чтобы тот, после его кончины, выварил его тело и, отделив кости от мяса, предал погребению это последнее; что до костей, то он завещал сыну хранить их и возить с собою и с войском всякий раз, когда ему случится драться с шотландцами, — словно судьба роковым образом привязала победу к его костяку.

Ян Жижка, возмущивший Богемию ради поддержки заблуждений Виклефа, высказал пожелание, чтобы с него после смерти была содрана кожа и чтобы эту кожу натянули на барабан, который будет созывать на битву с врагами; он полагал, что это поможет закрепить преимущества, достигнутые им в упорной борьбе. Равным образом, некоторые индейцы, отправляясь сражаться с испанцами, несли с собой кости одного из умерших вождей, памятуя о тех удачах, которые сопровождали его при жизни. Да и другие народы в той же половине земли берут на войну останки своих доблестных, погибших в сражениях воинов, чтобы они обеспечили им победу и вселили в их душу отвагу.

В первых наших примерах за умершими сохраняется только та слава, которую они приобрели своими былыми деяниями, тогда как последние приписывают им, сверх того, способность действовать и после их смерти. Гораздо прекраснее и возвышеннее поступок нашего полководца Баярда, который, почувствовав, что ранен насмерть выстрелом из аркебузы, на убеждения окружающих выйти из боя ответил, что не станет под конец жизни показывать спину врагу, и продолжал биться, покуда его не покинули силы; чувствуя, что теряет сознание и что ему не удержаться в седле, он приказал своему слуге положить его у подножия дерева, но так, чтобы он мог умереть лицом к неприятелю; так он и скончался.

Мне кажется необходимым присоединить сюда также следующий пример, который в этом отношении еще примечательнее, чем предыдущие. Император Максимилиан, прадед ныне царствующего короля Филиппа, был государем, наделенным множеством достоинств и среди них — необыкновенною телесною красотой. Но наряду с этими качествами, он обладал также одним, вовсе не свойственным государям, которые, дабы поскорее разделаться с важнейшими государственными делами, превращают порою в трон свой стульчак; это значит, что у него не было такого слуги, даже между наиболее приближенными среди них, которому он позволил бы видеть себя за ну-